

Содержание

Предисловие	5
Рассказы	9
Автобиография	9
Ку-ку	105
Турок-91	135
Аукцион	150
Адамыч	152
От винта! Или как я стал вертолетчиком	162
Маска, я тебя знаю!	184
Как я учился летать	198
Пирамида Хеопса	215
По чуть-чуть!	240
Медная мысль	272
Молись и кайся!	282
Трижды герой	288
Ночной полет	310
С пылу с жару	317
Станный дед	349
Фантазии	360
Любовник для моей жены	360
Шопен из-за угла	424
Агентство «00»	453

Предисловие

Самое печальное, что любое сказанное слово, любая написанная буква, любой шаг, любая секунда уже прошлое!

Мы все из прошлого. Мы там родились. Там гуляли с мамой за ручку. Там ездили на папиных плечах на первомайской демонстрации. Там эскимо на палочке за одиннадцать копеек и пятак на метро! Там первый поцелуй и первая драка в подворотне. Там первый глоток вина и первая сигарета! Там аттестат зрелости и там диплом! Все там!

Это нельзя изменить или остановить! Это «там» неизменно и поглощает «сейчас», как черная дыра, иногда навсегда, иногда выплескивая в «сейчас» часть каких-то обрывочных всполохов в виде воспоминаний. Иногда это тревожит, иногда радует, иногда вызывает грусть или, наоборот, заставляет ухватиться в этом «там» и тянуть в «сейчас» что-то очень важное, очень дорогое, без чего совсем худо. Как будто это возможно!

Знаем, знаем же, что это бессмысленно, и все равно иной раз просыпаемся ночью, разбуженные каким-то мгновением из этого «там», и так хочется продлить его, или изменить, или вообще вычеркнуть, чтобы его в этот «там» не было вовсе!

И что особенно грустно, что в этом «там» как-то все перемешано, перепутано, и совершенно невозможно все это систематизировать, как-то выстроить в ряд, одно мгновение за другим, одно за другим! Что-то крупное — да, а вот мелочи, те самые дорогие мелочи... никак.

И почему-то, когда особенно плохо, мы окунаемся в прошлое, как будто «там» есть ответ и надежда.

И лица. Лица расплываются и тают. Лица родных и близких людей. То есть они тут, с тобой, как будто никогда и не уходили, но вот черты... Улыбка... морщинки у глаз... родинка... Ускользают, теряются... Как ни цепляйся...

В сущности, моя жизнь похожа на фильм. На очень хороший фильм. Снятый каким-то гениальным режиссером. Который снял его почти целиком. Но не смонтировал. Не знаю почему. Может, спился. Может, влюбился. А может, ему просто надоело. И эти обрывки замечательного фильма валяются теперь на монтажном столе, и уже не разобрать, в каком порядке, когда и где они были сняты. Можно часами перебирать эти кадры, выхватывая из памяти лица, события, даты, но так и не создать цельную картину. Но, судя по ним, жизнь промелькнула в один миг, и эти кадрики как верстовые столбы за окошком скорого поезда, который мчится все быстрее и быстрее, не давая остановиться, оглянуться назад. Постоять и подумать, что это было там, позади. Год назад. Десять лет. Сорок. Или час. Память выборочна, как эти кадры. В сущности, мы помним только хорошее. Но и оно расплывается со временем. То есть сам факт того, что было, — вот он, перед тобой. Но подробности, все эти милые сердцу мелочи... Слова, нет, даже междометия, эти взгляды, это так необходимое иногда просто молчание. Вот он, на этом кадре, стоит, смеется, машет рукой. А его уже лет пятнадцать как нет на свете. И дома

этого нет. И сквера! Как нет? Вот же он! И дом вот! И вывеска эта на доме. И даже эти бабки на лавочке у подъезда. Я все очень хорошо помню! А этого нет. Только этот неизвестно откуда взявшийся кадрик из прошлого.

На этих обрывочных кадрах ничего нет. Кроме всплохов сознания, которое пытается выудить из памяти что-то очень важное, очень нужное. И не может.

Только застывшие мгновения куда-то умчавшейся жизни.

В этой книге как раз и собраны эти кадры. Собраны без всякой хронологии и смысла. Просто я сгреб их с монтажного стола и уложил между двумя обложками.

Если кому-то из вас они покажутся интересными или даже просто забавными, или, может быть, кто-то уловит в них какую-то закономерность, я буду рад, если потом вы сможете объяснить мне, что же это все-таки было — моя жизнь.

Или бросьте это дело, и пусть они так и валяются грудой, пока какой-нибудь очередной гений не удосужится все-таки смонтировать их и предъявить на ваш суд.

Леонид Якубович, сентябрь, 2020

Рассказы

Автобиография

Я родился в два часа в ночь с 30 июня на 1 июля. То есть, как истинный мужчина, я в доме появился ночью.

Я был единственным ребенком, хотя мать хотела иметь по крайней мере четверых. Но маленьким я так орал, что она решила, что лучше иметь одного, чем четверых с глухой мамашей.

Как ни странно, я не разговаривал до двух лет. Родители страшно волновались по этому поводу и понесли меня на консультацию к профессору Домбровской, великому педиатру, которая когда-то преподавала моей матери педиатрию, когда та училась в медицинском. Это была крупная седая женщина с громоподобным голосом, очень похожая на Фаину Георгиевну Раневскую. Жила она в большой, типично московской квартире одна, если не считать домработницы и кота.

— Совершенно нормальный ребенок, — сказала она после осмотра.

— Ради бога, извините, что мы вас побеспокоили, профессор, — произнесла мать, — но он же ничего не говорит!

— Значит, ему не о чем с вами разговаривать! — мудро заявила Домбровская.

Второй раз меня принесли к ней в четыре года. Я упал с дивана. Бабушка моя, Полина Савельевна, жила в коммунальной квартире на Нижней улице, в доме работников МПС. Окна ее комнаты выходили прямо на Белорусский вокзал. Как она там жила, понятия не имею. И днем и ночью слышны были гудки паровозов и станционные объявления. Прямо около окна стоял диван. И я вечно прыгал со спинки этого дивана на подоконник и как заведенный орал не переставая: «Поезд апавляется в пять в минут!» и еще «Сталино-Фили! Без астановков!». Ну, и однажды я допрыгался и со всего размаха ляпнулся лбом о мраморный подоконник. И у меня, как вспоминала моя мать, выросла такая шишка, что ее можно было запросто принять за вторую голову. Перепуганные родители тут же помчались со мной по врачам, которые все как один сказали: «Резать!» Отец сказал, что, пока не скажет Домбровская, ни на какие операции он согласия не даст. И меня опять понесли к ней.

Юлия Фоминична меня осмотрела, сказала, что ничего резать не надо, что это все само рассосется. И что, вероятно, я просто такой умный, что мозг в одной голове не уместается, поэтому выросла вторая.

Уходя, отец незаметно положил на мраморную полку камина конверт с деньгами.

Они успели спуститься до первого этажа, но выйти на улицу из подъезда не успели, как их догнала перепуганная домработница.

— Римма Семеновна! Римма Семеновна! — задыхаясь, пролепетала она. — Идите скорее, профессор просит вас вернуться!

Отец с матерью ринулись наверх, полагая, что случилось что-то ужасное. Они не ошиблись. Случилось действительно ужасное.

В дверях квартиры стояла огромная седая женщина с багровым лицом и растрепанными волосами.

— Как ты посмела! — гневно пророкотала она на весь подъезд, глядя на мою мать сверкающими от гнева глазами. — Как ты посмела! Врач врачу оставил деньги!!! Я тебя этому учила?! Вон отсюда! Чтоб я тебя больше не видела!

Она швырнула на пол конверт и захлопнула дверь.

Из соседних квартир выглядывали испуганные соседи.

Больше мы у Домбровской не были никогда. Несколько месяцев отец приносил цветы — она их выкидывала. Мать звонила — она бросала трубку. Она умерла, так и не приняв никаких извинений. Это было несовместимо с ее понятиями о совести и чести.

И всю жизнь потом, когда при матери произносили фамилию Домбровской, она краснела, поджимала губы и уходила в другую комнату.

Отец перед войной окончил МВТУ имени Баумана по специальности «Паровозостроение». Он успел поработать в Коломне в депо, успел жениться и в июле сорок первого ушел на фронт в ранге младшего лейтенанта. Поскольку он в глаза никогда не видел ни одной пушки, его тут же приписали к артдивизиону. Дивизия формировалась под Можайском, и, пока они ехали в эшелоне к месту назначения, солдаты на открытой платформе объясняли ему, как обращаться с оружием. Куда при случае нужно смотреть, за что дергать и куда, главное, суют снаряд перед выстрелом.

Отец о войне не рассказывал практически никогда. Мрачнел, сопел, потом молча наливал себе рюмку водки, выпивал залпом и переводил разговор на что-нибудь другое. От всей его войны осталась только маленькая черно-белая фотография, где ему вручают орден Красной Звезды маршал Буденный.

Была еще отцовская шинель и портупея с кобурой. Шинель была обычная, но вот ремень от портупеи был прямо-таки невероятный. В нем было три рваные отметины, две с одной стороны и одна с другой.

В сорок втором, во время боя где-то подо Ржевом, легла цепь. И никак. Ни вперед, ни назад. Тогда командир дивизии полковник Терентьев встал в полный рост, вышел перед цепью и зашагал вперед. Офицеры, естественно, бросились его закрывать.

Вот как шла пулеметная очередь, так и пробила в отцовском ремне три отметины, справа и слева.

Куда потом подевалась эта шинель с портупеей, представить себе не могу. Вещи вообще имеют обыкновение приходить и уходить, когда им вздумается.

Между прочим, если бы не этот орден Красной Звезды, меня вообще бы могло не быть на этом свете, о чем через много лет, когда отца уже не было, поведала мне мать.

Орден отцу вручали в Москве. Получил он четверо суток «туда и обратно» и на перекладных двинулся в столицу. На каком-то богом забытом полустанке эшелон стоял минут пять, ну, может, десять. Он вообще не должен был там останавливаться, но пропускали литерный и его притормозили. Отец курил у теплушки и вдруг обратил внимание на оборванного доходягу, который цыганил еду у солдат. Доходяге было лет тридцать, был он чудовищно худ, нечесан, грязный и весь в каких-то прыщах. Почему он обратил на него внимание, таких были тысячи, почему эшелон остановился именно тут, а не на следующем полустанке, черт его знает. Ну, совпало так. И отец накормил этого парня, и уговорил коменданта, и тот разрешил отцу взять этого доходягу с собой. И отец мало того что довез его до Москвы, так он еще, на свою голову, приволок его к себе домой, заставил жену переодеть этого оборвыша в свое же довоенное, гражданское. И сводить в милицию и к врачу. Короче говоря, отец получил орден, уехал обратно на фронт, а этот остался у них жить. А куда ж его, в самом деле, не на улицу же. Как известно, каждый добрый

поступок наказуем. Через два месяца отец получил от жены письмо, в котором она просила его дать ей развод, поскольку они тут полюбили друг друга прямо-таки неземной любовью и жить друг без друга теперь не могут. А отец, значит, это была ошибка молодости, и пусть он ее простит, и защищает нашу любимую Родину от фашистских захватчиков, а она тут уж как-нибудь без него.

Папаня напился, поскрипел зубами, дал развод и стал воевать дальше уже холостым.

В канун сорок четвертого года на фронт привезли традиционные подарки тружеников тыла воинам Красной армии. Там, кроме собственно посылочки, была открытка, начинавшаяся с «Дорогой товарищ боец Красной армии, поздравляю тебя с наступающим Новым, 1944 годом...».

Отцу тоже досталось такое послание, подписанное: «Римма С.».

В посылке были: пачка махорки, печенье, шоколадка «Три богатыря» и почему-то зеленые детские варенье на одну руку. Отец решил, что это какая-то ученица, видимо, седьмого или восьмого класса, и в шутку написал в ответ: «Дорогая Римма С...»

Дорогая Римма С. меж тем была совсем не школьницей восьмого класса, а дипломированным врачом, работала в клинике и ездила в санитарном поезде с бригадой под руководством самого Бурденко!

Она тут же отписала отцу свои извинения, пообещала прислать взамен что-нибудь другое, и что она вообще никогда не вязала, и что ее недавно научила санитарка, и что вообще это ее первый опыт в этом деле. Отец вежливо ответил, что, мол, спасибо, не стоит волноваться, ну и так далее. К двадцать третьему февраля он получил вторую посылку, в которой были шерстяные носки. Нормальные толстые вязаные шерстяные носки. Один примерно сорок третьего размера, а второй — тридцать девятого.

Отец понял, что это судьба.

В сорок четвертом отца после контузии откомандировали в Москву, в штаб БТМВ, они познакомились, в результате чего на свет появился я. То есть если бы не эти носки с варежками, я бы, наверное, родился совсем в другом месте у других родителей. И был бы, к примеру, не мальчиком Леней, а девочкой Леной.

Отец служил до пятьдесят третьего года. Великий вождь и учитель, как известно, спал мало, поэтому все работали, как и он, по ночам.

Штаб находился на Красной площади прямо напротив Спасских ворот. Мне уже было года четыре, и я очень хорошо помню, как мы с матерью ходили ночью пешком от Земляного Вала к нему на работу с кастрюлькой манной каши. У отца была раневая язва, и он ничего, кроме каши, не ел. Кастрюльку принимал у матери дежурный с повязкой и относил отцу. Потом мы шли обратно. Отец приходил домой после дежурства часов в пять утра. Когда дежурств не было, он работал с восьми утра до одиннадцати вечера. Тогда утром он отвозил меня в детский сад. Мы ехали на трамвае до «Балчуга», потом шли пешком до Софийской церкви на набережной Москвы-реки и прямо напротив Кремля уходили в подворотню, где находился детский сад Министерства обороны.

Однажды, когда мы уже вышли на остановке, трамвай тронулся с места и резко звеняще взвизгнул на повороте. Отец мгновенно схватил меня в охапку и упал ничком на асфальт, подминая меня под себя. Мышечная память. Ему показалось, что это минометный обстрел.

В этот день мы в сад не попали. Мы полдня отмачивали мои ссадины на лице.

До пятьдесят первого года мы с отцом регулярно девятого мая ходили к Большому театру на встречу однополчан.

Сначала я сидел у него на шее, потом уже шел рядом. Одной рукой он держал меня, чтобы я не потерялся в толпе, а другой — табличку с надписью «108-я стрелковая Бобруйская ордена Ле-

нина дивизия». Мы приходили к восьми утра и уходили в час, в два. И ни разу не встретили никого. Отец переживал очень. Он ничего не говорил, но было видно, что ему горько. Мать ничего не спрашивала, они так хорошо знали друг друга, что она по одному только взгляду все понимала. Мы садились за стол. Отец выпивал рюмку, съедал кусочек селедки, потом выпивал вторую, все молча, вставал и уходил на черный ход. Стоял там и курил одну за другой.

И вот однажды, как сейчас помню, в субботу мы ехали к бабушке, то есть, значит, к папиной маме, на Нижнюю улицу. Доехали на метро до «Белорусской» и только встали на эскалатор, как с противоположной стороны кто-то громогласно крикнул: «Аркадий!» Отец вздрогнул, обернулся и дальше, я даже охнуть не успел, понесся вниз, расталкивая всех и бесконечно повторяя на бегу: «Извините!.. Прошу прощения!.. Ради бога!..» А с той стороны ровно с теми же словами скакал вниз по ступенькам здоровенный дядька в военной форме.

Я, не очень понимая, что, собственно, произошло, доехал до верха, перешел на другую сторону и поехал обратно вниз.

Все, кто стоял на эскалаторах, смотрели в одну сторону. Те, кто ехал вверх, стояли уже спиной к движению, а те, кто ехал вниз, поднимались на цыпочки, перегибались через поручни, подпрыгивали, чтобы лучше видеть. Свистела дежурная, бурлила толпа, возник неведь откуда взявшийся милиционер, и все улыбались. Все! Я очень хорошо помню, улыбались все. Остановили эскалатор. Люди все подходили и подходили.

А посреди всего этого стояли, стиснув друг друга, отец и этот дядька.

Вяяснилось, что встречаются однополчане не девятого мая, а восьмого, и не в скверике у Большого театра, а в Александровском саду у Итальянского грота.

И на следующий год мы туда и пошли.

Никогда ни до, ни после не видел ничего подобного. Не забуду никогда.

Никогда не забуду и похороны вождя народов.

Шестого марта.

Сначала долго не начинались уроки. Мы сидели и ждали, но никто не приходил. Потом открылась дверь, и вошла Елизавета Андреевна, наша классная. Маленькая, сухонькая, с забранным назад пучком седых волос. Боялись ее в школе ужасно.

Вошла, молча встала у окна и застыла там. Минут десять стояла так и молчала, только плечи у нее мелко тряслись.

Потом повернулась к нам, оглядела класс совершенно сухими, ничего не видящими глазами и сказала хрипло: «Можете идти домой. Уроков не будет...»

И опять отвернулась к окну.

Мы ринулись на улицу. Уже, как обычно, перебегая улицу Чкалова, мы вдруг остановились посредине, не понимая, что происходит.

Мало того что никто не свистнул, никто не заорал «Стой, куда под машины?!», происходило вообще что-то совершенно необычное.

Стояло все!

Машины, троллейбусы, трамваи, люди на улице. И гудели паровозные гудки на Курском вокзале. Гудели долго, наверное, минут десять.

А потом стало тихо. Совсем тихо. Совсем-совсем тихо.

Люди шли и плакали. Кто вытирал лицо рукавом, кто — закрыв рот ладонью, кто просто шел и плакал на ходу, даже не утирая слез.

Дома тоже все было как-то не так. Как-то непривычно тихо и как-то настороженно, что ли... И во всех комнатах на полную были включены радиоприемники, по которым непрерывно передавали траурные речи и музыку.

Отца не было. Его срочно вызвали.

Он вернулся только на следующий день поздно вечером. Весь измятый, без фуражки, с половиной пуговиц на шинели и с одним оторванным наполовину погоном. Пришел, ничего не сказал,

с ходу налил себе стакан водки, выпил залпом, сквозь зубы выругался, выпил еще... Похлопал маму по щеке, сказал: «Ничего, ничего...» — и ушел на черный ход, прихватив бутылку.

Сидел там и курил почти до утра.

Я ничего не понял.

Мать проработала гинекологом больше сорока лет. Она была очень хорошим врачом. Своих пациенток она называла «мои бабы», и «бабы» ее просто обожали.

Она окончила Первый мед в сорок первом, как раз перед войной, и даже пару раз ездила на фронт в санитарном поезде с самим Бурденко, о котором всегда вспоминала с легким трепетом. По ее словам, это был совершенно гениальный хирург, с рук которого надо было делать золотые слепки! Но характера был непростого. В операционной мог наорать, швырнуть инструмент. Единственной, кто в такие моменты мог его одернуть, была его старшая операционная сестра, с которой он проработал долгие годы. Как только что-нибудь случалось, раздавался ее голос: «Тихо в операционной», и он тут же успокаивался. Меж тем руки его продолжали работать безостановочно, четко и уверенно делая свое дело.

Потом она работала в судмедэкспертизе, и уже потом, после аспирантуры, много лет гинекологом.

Каждый раз, когда ее спрашивали о работе, она гордо отвечала: «Я работаю в органах!», и, что характерно, ее тут же пропускали без очереди везде и всюду.

Собственно, мы все жили у ее родителей, моих бабушки и деда.

Квартира была коммунальная, и жили там восемнадцать соседей.

И квартира была прямо-таки историческая, и дом наш тоже был, безо всякого преувеличения, исторический.

Дом построил в начале XX века некий миллионщик Шмаков. В Москве он объявился в первой половине XIX столетия безусым пацаном, точно так, как Михайло Ломоносов. При-

шел пешком издалека, бос и гол, с одной котомкой за спиной. Мыкался, мыкался, да и пристроился в артель к золотарям. Кому интересно, могу пояснить, что золотарь — это по поводу дерьма, сиречь ассенизаторы. Профессия, что и говорить, не самая приятная, однако куда денешься. Парень он, видимо, был работающий и через какое-то время даже стал «нижним». То есть, значит, стал работать внизу, в выгребной яме. И не надо морщиться, ибо по тем временам дело это было немало выгодное, потому как в этой самой яме можно было найти, вы не поверите, и золотое кольцо, и дорогой портсигар, и много чего еще стоящего. Даже с учетом артельного «котла» все равно оставалось немало. Потом вырос до артельщика и через какое-то время забрал под себя едва ли не все золотарское дело в Москве. Разбогател и построил доходный дом, одна часть которого была гостиницей, а другая, с квартирами, сдавалась внаем обеспеченным господам.

Так вот, квартира, в которой мы жили, была его личными апартаментами, а мы ввосьмером — мама, папа, я, тетя, дядя, моя сестра и дед с бабушкой — жили в его личном сорокаметровом кабинете, разделенном на три части.

Дед с бабушкой въехали туда в восемнадцатом году, когда Шмаковых потеснили. К тому времени самого Шмакова уже в живых не было, а в одной из комнат жил его сын с красавицей женой. Сыновей у Шмакова было два. Один был архитектор, а второй — что-то там по коммерции. Про того, который архитектор, не известно ничего, он успел сбежать в семнадцатом году, а вот тот, что еще жил в этой квартире...

По рассказам бабушки, жена его была насколько красива, настолько же и капризна до умопомрачения, с утра до вечера она закатывала скандалы по любому поводу и бесконечно визгливо требовала: «Давай уедем от этого быдла! Давай уедем!»

Вы можете не поверить, но, по свидетельству очевидцев, когда она выводила его из себя окончательно, он выволакивал ее на кухню и, задрав подол, порол ремнем чуть не до крови. И на

всю квартиру она орала благим матом: «Люди добрые, помогите! Умираю, умираю, умерла!»

Но совсем уже невтерпеж стало после того, как в квартиру с обыском пришел патруль. Солдат, матрос и чекист в кожанке.

Чекист с матросом, распределившись по комнатам, стали проверять документы, а солдатик с трехлинейкой ввалился как раз к ней. Самого Шмакова-младшего дома не было, так что мадам была одна.

Встретила она солдатика в прозрачном насквозь пеньюаре, под которым абсолютно ничего не было. Солдатик, стараясь не смотреть на хозяйку, спросил документы. Она, призывно улыбаясь, подала. Он взял, уронил. Поднял, опять уронил. Проверил, глядя в потолок, вернул и, заикаясь, спросил, показывая на стоящую на столе большую шкатулку: «А тут у вас что?»

«А тут... — сказала она, поднимая пеньюар до груди, — тут мои любовные письма!»

Солдатик выронил винтовку и, багровея, вымелся из комнаты.

Меж тем в шкатулке были все их драгоценности.

Через неделю они уехали, говорили, куда-то в Аргентину.

А еще через день после того, как они уехали, в квартире раздался звонок.

Бабушка открыла.

В дверях стоял солидный господин в шубе, подбитой мехом, с бобровым воротником, и с большим саквояжем в руках.

Господин спросил Шмакова.

Бабушка сказала, что их нет.

— А когда они будут? — спросил господин.

— Теперь уж и не знаю! — ответила бабушка.

— Позвольте, как это «теперь»? Что значит «теперь»? — завопил бобровый воротник.

— Уехали они! — терпеливо объяснила бабушка.

— Куда уехали?! — господин бледнел на глазах.

— Совсем, совсем они уехали! За границу! А куда, я не знаю!

Господин схватился за сердце, сказал: «Ах!» — и без сознания рухнул на пол.

Выяснилось, что Шмаков «продал» ему здание бывшего генерал-губернатора, где теперь правительство Москвы. Продал с большой скидкой, о чем и выдал соответственно заверенный «документ» с «печатами» и «подписями». И господин этот, собственно, пришел с распиской за деньгами.

Жили в квартире, повторяю, восемнадцать человек. Болдыревы с сыном — в дальней комнате. Рядом маленькая сухонькая Мария Моисеевна Ботвинник, профессор то ли органической, то ли неорганической химии МГУ, которую я с детства называл Масюска. Она была из старой школы, невероятно обаятельная и добрая. Студенты ее, видимо, любили. О чем можно судить по одному случаю, который она мне рассказала.

К ней на экзамен пришел студент. Достал билет, стал отвечать. На два вопроса кое-как ответил, а на третий нет. Она его и отправила до другого раза. Он, естественно, стал ныть, выпрашивая троечку.

— Послушайте! — сказала она ему. — Вот вы сели в трамвай. Билет стоит три копейки. А у вас — две! Повезет вас кондуктор или не повезет?

— Если не сволочь, то повезет! — не моргнув глазом ответил он.

И она поставила ему три.

Еще жила Ольга Михайловна со взрослой дочерью, и рядом с нами еще одна старушка, о которой я знал только, что ее зовут Ганька. Кто она, было загадкой, но бабушка с ней не разговаривала вовсе никогда и никогда даже не здоровалась. Не знаю почему.

Бабушка Анна Львовна Черняк была женщиной, мягко говоря, дородной. Голос имела громобойный и характер, который мог выдержать только дед. Она была еще тот Черняк!

— Аня! — говорил дед. — Давай съездим за город?

— Не говори ерунду! — отвечала она — Какой загород?! По радио обещали заморозки на почве!

— Ну так мы не будем ложиться на почву! — флегматично отвечал дед.

— Будешь со мной так разговаривать, не получишь подарок ко дню рождения!

— Аня, я живу с тобой столько лет и столько же раз удивлялся, что у меня вообще был день рождения!

— Все! Хотела купить тебе ремешок для часов, теперь пойду и на эти деньги куплю себе набрюшник!

— Купи себе лучше намордник!

Дальше начиналось битье посуды, валокордин и прочие радости.

У бабушки было три подруги. По странному стечению обстоятельств, две, тетя Наташа и тетя Эсфирь, и до войны, и во время, и после служили в военной контрразведке, а тетя Рика в разведке.

Ни та, ни другая, ни третья никогда ничего не рассказывали о работе. Я потом, уже через много лет, когда хоронили бабушку, увидел, как двое военных под руки привели тетю Наташу. Сама она уже ходила с трудом, но кофта, кофта ее потрясла меня совершенно. Кофта сползала спереди так, что ворот был где-то на уровне груди, от количества боевых наград.

Потом, уже на поминках, за столом, я от нее узнал, что бабушка моя во время войны вывозила детей из школ и детских домов Сталинграда. Вывозила на маленьком пароходике через Волгу в тыл.

И была у нее медаль «За боевые заслуги», которую вручали в штабе Чуйкова.

Я ничего об этом не знал.

В самом начале 1946 года тетя Рика была у нас в гостях. Они с бабушкой протрелились за чаем допоздна, и, когда надо было уходить, бабушка взялась провожать подругу до трамвая, который тогда ходил по улице Чкалова, и остановка была как раз напротив нашего подъезда. Бандитизм в Москве в ту пору был страшный, пока по приказу Берии не были пущены

пешие и конные патрули с приказом стрелять без предупреждения.

Ну вот. Тетя Рика надела шинель, а бабушка накинула на плечи старую шубу, у которой весь вечер отпарывала подкладку, чтобы перелицевать. Поэтому накинула она ее ватином вверх. И в таком виде они пошли до остановки.

Меж тем в подъезде курили двое, на которых они не обратили никакого внимания.

Бабушка посадила Рiku на трамвай, а когда возвращалась...

Один стоял на площадке второго этажа, а другой — в пролете между вторым и третьим. И когда она прошла второго, он схватил ее, приставил нож к горлу и рявкнул: «Скидай шубу, стерва!»

Они, видимо, в полутемном подъезде приняли ватин за мех. Ну, ошиблись люди, бывает.

Бабушка моя, ни слова не говоря, потеряла сознание и навзничь рухнула на этого, с ножом. И оба они с маху опрокинулись на стоящего внизу второго. То есть, значит, бабушкины сто десять плюс этого килограммов восемьдесят.

В результате, как потом установили, у одного сломана рука и два ребра, а у другого тяжелая черепно-мозговая травма.

Единственно, кто не пострадал совершенно, была Анна Львовна, которая выползла из подъезда на улицу и вызвала милицию.

Много лет потом у нас хранилась грамота «За задержание особо опасных преступников», подписанная зам. министра НКВД Кругловым.

Дед мой, Семен Цезаревич Шенкер, был тот самый тип людей, с которых Бабель писал «Одесские рассказы». Он был совершеннейший Шенкер везде и во всем! У него были бездонно-голубые глаза в прямом и переносном смысле этого слова. И всю свою жизнь он и прожил на этом «голубом глазу».

Дед свято верил во все, что пишут газеты и о чем говорит радио. И все мое детство прошло под бесконечные споры отца с дедом по поводу всего, что творилось за окном!